

Джеймс
ХЭРРИОТ

*О всех созданиях —
больших и малых*



АЗБУКА

Санкт-Петербург

ВЕЧНОЕ ЧУДО

«Нет, авторы учебников ничего об этом не писали», — подумал я, когда очередной порыв ветра швырнул в зияющий дверной проем вихрь снежных хлопьев и они облепили мою голую спину. Я лежал ничком на булыжном полу в навозной жиже, моя рука по плечо уходила в недра тужащейся коровы, а ступни скользили по камням в поисках опоры. Я был обнажен по пояс, и талый снег мешался на моей коже с грязью и засохшей кровью. Фермер держал надо мной коптящую керосиновую лампу, и за пределами этого дрожащего кружка света я ничего не видел.

Нет, в учебниках ни слова не говорилось о том, как на ощупь отыскивать в темноте нужные веревки и инструменты, как обеспечивать асептику с помощью полуведра еле теплой воды. И о камнях, впивающихся в грудь, — о них тоже не упоминалось. И о том, как мало-помалу немеют руки, как отказывает мышца за мышцей и перестают слушаться пальцы, сжатые в тесном пространстве.

И нигде ни слова о нарастающей усталости, о щемящем ощущении безнадежности, о зарождающейся панике.

Я вспомнил картинку в учебнике ветеринарного акушерства. Корова невозмутимо стоит на сияющем белизной полу, а элегантный ветеринар в незапятнанном специальном комбинезоне вводит руку разве что по запястье. Он безмятежно улыбается, фермер и его

работники безмятежно улыбаются, даже корова безмятежно улыбается. Ни навоза, ни крови, ни пота — только чистота и улыбки.

Ветеринар на картинке со вкусом позавтракал и теперь заглянул в соседний дом к телящейся корове просто развлечения ради, так сказать, на десерт. Его не подняли с теплой постели в два часа ночи, он не трясся, борясь со сном, двадцать километров по оледенелому проселку, пока наконец лучи фар не уперлись в ворота одинокой фермы. Он не карабкался по крутому снежному склону к заброшенному сараю, где лежала его пациентка.

Я попытался продвинуть руку еще на пару сантиметров. Голова теленка была запрокинута, и я кончиками пальцев с трудом проталкивал тонкую веревочную петлю к его нижней челюсти. Моя рука была зажата между боком теленка и тазовой костью коровы. При каждой схватке руку сдавливало так, что не было сил терпеть. Потом корова расслаблялась, и я проталкивал петлю еще на пару сантиметров. Надолго ли меня хватит? Если в ближайшие минуты я не зацеплю челюсть, теленка мне не извлечь... Я застонал, стиснул зубы и выиграл еще один сантиметр.

В дверь снова ударил ветер, и мне почудилось, что я слышу, как снежные хлопья шипят на моей раскаленной, залитой потом спине. Пот покрывал мой лоб и стекал в глаза при каждом новом усилии.

Во время тяжелого отела всегда наступает момент, когда перестаешь верить, что у тебя что-нибудь получится. И я уже дошел до этой точки.

У меня в мозгу начали складываться убедительные фразы: «Пожалуй, эту корову лучше забить. Тазовое отверстие у нее такое маленькое и узкое, что теленок все равно не пройдет». Или: «Она очень упитанна и, в сущности, мясной породы, так не лучше ли вам вызвать мясника?» А может быть, так: «Положение

плода крайне неудачно. Будь тазовое отверстие пошире, повернуть голову теленка не составило бы труда, но в данном случае это совершенно невозможно».

Конечно, я мог бы прибегнуть к эмбриотомии; захватить шею теленка проволокой и отпилить голову. Сколько раз подобные отелы завершались тем, что пол усеивали ноги, голова, кучки внутренностей! Есть немало толстых справочников, посвященных способам расчленения теленка на части в материнской утробе.

Но ни один из них тут не подходил — ведь теленок был жив! Один раз ценой большого напряжения мне удалось коснуться пальцем уголка его рта, и я даже вздрогнул от неожиданности: язык маленького существа затрепетал от моего прикосновения. Телята в таком положении обычно гибнут из-за слишком крутого изгиба шеи и мощного сжатия при потугах. Но в этом теленке еще теплилась искра жизни, и, значит, появиться на свет он должен был целым, а не по кусочкам.

Я направился к ведру с совсем уже остывшей окровавленной водой и молча намылил руки по плечо. Потом снова улегся на поразительно твердый булыжник, упер пальцы ног в ложбинки между камнями, смахнул пот с глаз и в сотый раз засунул внутрь коровы руку, которая казалась мне тонкой, как макаронина. Ладонь прошла по сухим ножкам теленка, шершавым, словно наждачная бумага, добралась до изгиба шеи, до уха, а затем ценой невероятных усилий протиснулась вдоль мордочки к нижней челюсти, которая теперь превратилась в главную цель моей жизни.

Просто не верилось, что вот уже почти два часа я напрягаю все свои уже убывающие силы, чтобы надеть на эту челюсть маленькую петлю. Я испробовал и прочие способы: заворачивал ногу, зацеплял край глазницы тупым крючком и легонько тянул, — но был вынужден вновь вернуться к петле.

С самого начала все складывалось из рук вон плохо. Фермер мистер Динсдейл, долговязый, унылый, молчаливый человек, казалось, всегда ожидал от судьбы какой-нибудь пакости. Он следил за моими усилиями вместе с таким же долговязым, унылым, молчаливым сыном, и оба мрачнели все больше.

Но хуже всего был дядюшка. Войдя в этот сарай на холме, я с удивлением обнаружил там быстроглазого старичка в шапке пирожком, уютно примостившегося на связке соломы с явным намерением поразвлечься.

— Вот что, молодой человек, — заявил он, набивая трубку. — Я мистеру Динсдейлу брат, а ферма у меня в Листондейле.

Я положил свою сумку и кивнул:

— Здравствуйте. Моя фамилия Хэрриот.

Старичок хитро прищурился:

— У нас ветеринар мистер Брумфилд. Небось, слышали? Его всякий знает. Замечательный ветеринар. А уж при отеле лучше никого не найти. Я еще ни разу не видел, чтобы он спасовал.

Я кое-как улыбнулся. В любое другое время я был бы только рад выслушать похвалы по адресу коллеги, но не теперь, нет, не теперь. По правде говоря, его слова отозвались в моих ушах похоронным звоном.

— Боюсь, я ничего не слышал про мистера Брумфилда, — ответил я, снимая пиджак и с большой неохотой стаскивая рубашку. — Но я тут недавно.

— Не слышали про мистера Брумфилда! — ужаснулся дядюшка. — Ну так это вам чести не делает. В Листондейле им не нахвалятся, можете мне поверить! — Он негодуяще умолк, поднес спичку к трубке и оглядел мой торс, уже покрывавшийся гусиной кожей. — Мистер Брумфилд раздевается, что твой боксер. Уж и мускулы у него — загляденье!

На меня вдруг накатила волна томительной слабости, ноги словно налились свинцом, и я почувство-

вал, что никуда не гожусь. Когда я принялся раскладывать на чистом полотенце свои веревки и инструменты, старичок снова заговорил:

— А вы-то давно практикуете?

— Месяцев семь.

— Семь месяцев! — Дядюшка снисходительно улыбнулся, придавил пальцем табак и выпустил облако вонючего сизого дыма. — Но важнее всего опыт, это я всегда говорю. Мистер Брумфилд пользуется мою скотину десять лет, и он в своем деле мастак. К чему она, книжная-то наука? Опыт, опыт — вот в чем суть.

Я подлил в ведро дезинфицирующей жидкости, тщательно намылил руки до плеч и опустил на колени позади коровы.

— Мистер-то Брумфилд допрежь всегда руки особым жиром мажет, — сообщил дядюшка, удовлетворенно посасывая трубку, — он говорит, что обходиться только мылом с водой никак нельзя: навверняка занесешь заразу.

Я провел предварительное обследование. Это решающий момент для любого ветеринара, когда его призывают к телящейся корове. Еще несколько секунд — и я буду знать, надену ли я пиджак через пятнадцать минут, или мне предстоят часы и часы изнурительного труда.

На этот раз все оказалось даже хуже, чем можно было ожидать: голова плода обращена назад, а моя рука сдавлена так, словно я обследую телку, а не корову, телящуюся во второй раз. И все сухо — воды, по-видимому, отошли уже несколько часов назад. Она паслась высоко в холмах, и схватки начались за неделю до срока. Вот почему ее и привели в этот разрушенный сарай. Но как бы то ни было, а в постель я вернусь не скоро.

— Ну и что же вы обнаружили, молодой человек? — раздался пронзительный голос дядюшки. — Голова

назад повернута, а? Так, значит, особых хлопот вам не будет. Мистер Брумфилд с ними запросто расправляется: повернет теленка и вытаскивает его задними ногами вперед, я сам видел.

Я уже успел наслушаться подобной ерунды. Несколько месяцев практики научили меня, что все фермеры — большие специалисты, пока дело касается соседней скотины. Если заболит их собственная корова, они тут же бросаются к телефону и вызывают ветеринара, но о чужой рассуждают как знатоки и сыплют всяческими полезными советами. И особенно меня поразило, что к таким советам прислушиваются с куда большим интересом, чем к указаниям ветеринара. Вот и теперь Динсдейлы внимали разглагольствованим дядюшки с глубоким почтением: он явно был признанным оракулом.

— А еще, — продолжал мудрец, — можно собрать парней покрепче, с веревками, да разом и выдернуть его, как там у него голова ни повернута.

Продолжая свои маневры, я прохрипел:

— Боюсь, в таком тесном пространстве повернуть всего теленка невозможно. А если его выдернуть, не выправив положения головы, таз коровы будет обязательно поврежден.

Динсдейлы ухмыльнулись: они явно считали, что я увиливаю, подавленный превосходством дядюшки.

И вот теперь, два часа спустя, я готов был сдать. Два часа я ерзал и ворочался на грязном булыжнике, а Динсдейлы следили за мной в угрюмом молчании под нескончаемый аккомпанемент дядюшкиных советов и замечаний. Красное лицо дядюшки сияло, маленькие глазки весело блестели — давно уже ему не доводилось так отлично проводить время. Конечно, взбираться на холм было куда как нелегко, но оно того стоило. Его оживление не угасало, он смаковал каждую минуту.

Я замер с зажмуренными глазами и открытым ртом, ощущая коросту грязи на лице. Дядюшка зажал трубку в руке и наклонился ко мне со своего соломенного трона.

— Выдохлись, молодой человек, — сказал он с глубоким удовлетворением. — Вот чтоб мистер Брумфилд спасовал, я еще не видывал. Ну да он человек опытный. К тому же силач силачом. Уж он-то никогда не устает.

Ярость разлилась по моим жилам, как глоток неразбавленного спирта. Самым правильным, конечно, было бы вскочить, опрокинуть ведро с бурой водой дядюшке на голову, сбежать с холма и уехать — уехать навсегда, подальше от Йоркшира, от дядюшки, от Динсдейлов, от их проклятой коровы.

Вместо этого я стиснул зубы, напряг ноги, нажал из последних сил и, сам себе не веря, почувствовал, как петля скользнула за маленькие острые резцы в рот теленка. Очень осторожно, затаив дыхание, я левой рукой потянул тонкую веревку, и петля под моими пальцами затянулась. Наконец-то мне удалось зацепить эту челюсть!

Теперь я мог что-то предпринять.

— Возьмите конец веревки, мистер Динсдейл, и тяните, только ровно и не сильно. Я отожду теленка назад, и, если вы в это время будете тянуть, голова повернется.

— Ну а как веревка соскользнет? — с надеждой осведомился дядюшка.

Я не стал отвечать, а прижал ладонь к плечу теленка, надавил и почувствовал, как маленькое тельце отодвигается вглубь против волны очередной схватки.

— Тяните, мистер Динсдейл, только ровно, не дергая, — скомандовал я, а про себя добавил: «Господи, только бы не соскользнула, только бы не соскользнула!»

Голова поворачивалась! Вдоль моей руки распрямлялась шея, вот моего локтя коснулось ухо. Я отпустил плечо и ухватил мордочку. Оберегая стенку влагалища от зубов малыша, я вел голову, пока она не легла на передние ноги, как ей и полагалось.

Тут я торопливо ослабил петлю и передвинул ее за уши.

— А теперь, как только она натужится, тяните за голову!

— Да нет, за ноги надо тянуть! — крикнул дядюшка.

— Тяните за голову, черт вас дери! — рявкнул я во всю глотку и с радостью заметил, что дядюшка оскорбленно вернулся на свою солому.

Вот показалась голова, за ней без труда выскользнуло туловище. Теленок лежал на бульжнике неподвижно. Глаза у него остекленели, язык был синий и распухший.

— Сдох, конечно! — проворчал дядюшка, возобновляя атаку.

Я очистил рот теленка от слизи, изо всех сил подул ему в горло и принялся делать искусственное дыхание. После трех-четырёх нажатий теленок судорожно вздохнул, и веки его задергались. Скоро он уже начал дышать нормально и пошевелил ногой.

Дядюшка снял шапку и недоверчиво поскреб в затылке:

— Жив, скажите на милость! А я уж думал, что он не выдержит: сколько же это вы времени возились!

Тем не менее пыл его поуогас, зажатая в зубах трубка была пуста.

— Вот что теперь требуется малышу, — сказал я, ухватив теленка за передние ноги, и подтащил к морде матери.

Корова лежала на боку, устало положив голову на бульжник, полузакрыв глаза, ничего не замечая вокруг, и тяжело дышала. Но стоило ей почувствовать

возле морды тельце теленка, как она преобразилась: глаза ее широко раскрылись, и она принялась шумно его обнюхивать. С каждой секундой ее интерес возрастал: она перекатилась на грудь, тычась мордой в теленка и утробно урча, а затем начала тщательно его вылизывать. В таких случаях сама природа обеспечивает стимулирующий массаж, и под грубыми сосочками материнского языка, растиравшими его шкурку, малыш выгнул спину и минуту спустя встряхнул головой и попытался сесть.

Я улыбнулся до ушей. Мне никогда не надоедало вновь и вновь быть свидетелем этого маленького чуда, и, казалось, оно не может приестся, сколько бы раз его ни наблюдать. Я попытался соскрести с кожи присохшие кровь и грязь, но толку было мало. Туалет придется отложить до возвращения домой. Рубашку я натягивал с таким ощущением, словно меня долго били толстой дубиной. Все тело болело и ныло. Во рту пересохло, губы слиплись.

Возле меня замаячила высокая унылая фигура.

— Может, дать попить? — спросил мистер Динсейл.

Корка грязи на моем лице пошла трещинами от благодарной улыбки. Перед глазами возникло видение большой чашки горячего чая, щедро сдобренного виски.

— Вы очень любезны, мистер Динсейл, я с удовольствием выпью чего-нибудь горяченького. Это были нелегкие два часа.

— Да нет, — сказал мистер Динсейл, не отводя от меня пристального взгляда, — может, дать корове попить?

— Ну да, конечно, разумеется, конечно, — забормotal я. — Обязательно дайте ей попить.

Я собрал свое имущество и, спотыкаясь, выбрался из сарая. Снаружи была темная ночь, и резкий ветер

швырнул мне в глаза колючий снег. Спускаясь по темному склону, я в последний раз услышал голос дядушки, визгливый и торжествующий:

— А мистер Брумфилд против того, чтобы поить после отела. Говорит, что эдак можно желудок застудить.

ПРИБЫТИЕ В ДАРРОУБИ

В ветхом тряском автобусе было невыносимо жарко, а я к тому же сидел у окна, сквозь которое били лучи июльского солнца. Мой лучший костюм душил меня, и я то и дело оттягивал пальцем тесный белый воротничок. Конечно, в такой зной следовало бы надеть что-нибудь полегче, но в нескольких милях дальше меня ждал мой потенциальный наниматель, и мне необходимо было произвести наилучшее впечатление.

От этого свидания столько зависело! Получить диплом ветеринара в 1937 году было почти то же, что встать в очередь за пособием по безработице. В сельском хозяйстве царил застой, поскольку десять с лишним лет правительство его попросту игнорировало, а рабочая лошадь, надежная опора ветеринарной профессии, стремительно сходила со сцены. Нелегко сохранять оптимизм, когда молодые люди после пяти лет усердных занятий в колледже попадали в мир, совершенно равнодушный к их свеженакопленным знаниям и нетерпеливому стремлению поскорее взяться за дело. В «Рикорде» ежедневно появлялись два-три объявления «Требуется...», и на каждое находилось человек восемьдесят желающих.

И я глазам своим не поверил, когда получил письмо из Дарроуби — городка, затерянного среди йоркширских холмов. Мистер Зигфрид Фарнон, член Королевского ветеринарного общества, будет рад видеть меня у себя в пятницу, во второй половине дня, — вы-

пьем по чашечке чая, и, если подойдем друг другу, я могу остаться там в качестве его помощника. Я ошеломленно вцепился в этот неожиданный подарок судьбы: столько моих друзей-однокашников не могли найти места, или стояли за прилавками магазинов, или занимались чернорабочими на верфи, что я уже махнул рукой на свое будущее.

Шофер вновь лягнул передачей, и автобус начал вползать на очередной крутой склон. Последние двадцать пять километров дорога все время шла вверх, и вдали смутно заголубели очертания Пеннинских гор. Мне еще не доводилось бывать в Йоркшире, но это название всегда вызывало в моем воображении картину края такого же положительного и неромантического, как мясной пудинг. Я ожидал встретить доброжелательную солидность, скуку и полное отсутствие какого-либо очарования. Но под стоны старенького автобуса я начинал проникаться убеждением, что ошибся. То, что еще недавно было бесформенной грядой на горизонте, превратилось в высокие безлесные холмы и широкие долины. Внизу среди деревьев петляли речки, добротные фермерские дома из серого камня вставали среди лугов, зелеными языками уходивших к вершинам холмов, откуда на них накатывались темные волны вереска.

Мало-помалу заборы и живые изгороди сменились стенками, сложенными из камня, — они обрамляли дороги, замыкали в себе поля и луга, убегали вверх по бесконечным склонам. Эти стенки виднелись повсюду, мили и мили их расчерчивали зеленые плато.

Но по мере того как близился конец моего путешествия, в памяти начали всплывать одна за другой страшные истории — те ужасы, о которых повествовали в колледже ветераны, закаленные и ожесточенные несколькими месяцами практики. Наниматели, все до единого бессердечные и злобные личности, считали

помощников жалкими ничтожествами, морили их голодом и замучивали работой. «Ни одного свободно-го дня или хотя бы вечера! — говорил Дейв Стивенс, дрожащей рукой поднося спичку к сигарете. — Заставлял меня мыть машину, вскапывать грядки, подстригать газон, ходить за покупками. Но когда он потребовал, чтобы я прочищал дымоход, я уехал». Ему вторил Уилли Джонстон: «Мне сразу же поручили ввести лошади зонд в желудок. А я вместо пищевода угодил в трахею. Надо откачивать, а лошадь грохнулась на пол и не дышит. Откинула копыта. Вот откуда у меня эти седые волосы». А жуткий случай с Фредом Принглом? О нем рассказывали всем и каждому. Фред сделал прокол корове, которую раздуло, и, ошеломленный свистом выходящих наружу газов, не нашел ничего лучше, как поднести к гильзе пробойника зажигалку. Пламя полыхнуло так, что запалило солому, и коровник сгорел дотла. А Фред тут же уехал куда-то далеко — на Подветренные острова, кажется.

А, черт! Уж это чистое вранье. Я выругал свое воспаленное воображение и попытался заглушить в ушах рев огня и мычание обезумевших от страха коров, которых выводили из огнедышащего жерла коровника. Нет, такого все-таки случиться не могло! Я вытер вспотевшие ладони о колени и попробовал представить себе человека, к которому ехал.

Зигфрид Фарнон. Странное имя для йоркширского сельского ветеринара. Наверное, немец — учился у нас в Англии и решил обосноваться здесь навсегда. И конечно, по-настоящему он не Фарнон вовсе, а, скажем, Фарренен. Сократил для удобства. Ну да, Зигфрид Фарренен. Мне казалось, что я его уже вижу: эдакий переваливающийся на ходу толстячок с веселыми глазками и булькающим смехом. Но одновременно мне пришлось отгонять навязчиво возникавший облик грузного холодноглазого тевтона с ежиком

жестких волос на голове — он как-то больше отвечал ходовому представлению о ветеринаре, берущем помощника.

Автобус, прогромыхав по узкой улочке, въехал на площадь и остановился. Я прочел надпись над витриной скромной бакалейной лавки: «Дарроубийское кооперативное общество». Конец пути.

Я вышел из автобуса, поставил свой потрепанный чемодан на землю и огляделся. Что-то было совсем непривычным, но сначала я не мог уловить, что именно. А потом вдруг понял. Тишина! Остальные пассажиры уже разошлись, шофер выключил мотор, и нигде вокруг — ни движения, ни звука. Единственным видимым признаком жизни была компания стариков, сидевших возле башенки с часами посреди площади, но и они застыли в неподвижности, словно изваянные из камня.

В путеводителях Дарроуби занимает две-три строчки, и то не всегда. А уж если его и описывают, то как серенький городок на реке Дарроу, с рыночной площадью, вымощенной булыжником, и без каких-либо достопримечательностей, если не считать двух старинных мостов. Но выглядел он очень живописно: над бегущей по камешкам речкой теснились домики, уступами располагаясь по нижнему склону Херн-Фелла. В Дарроуби отовсюду — и с улиц, и из домов — была видна величавая зеленая громада этого холма, поднимающегося на две тысячи футов над скоплениями крыш.

Воздух был прозрачным, и меня охватило ощущение простора и легкости, словно я сбросил с себя какую-то тяжесть на равнине в двадцати милях отсюда. Теснота большого города, копоть, дым — все это осталось там, а я был здесь.

Улица Тренгейт, тихая и спокойная, начиналась прямо от площади; я свернул в нее и в первый раз

увидел Скелдейл-хаус. Я сразу понял, что иду правильно, — еще до того, как успел прочесть «Зигфрид Фарнон, ЧКВО» на старомодной медной дощечке, довольно криво висевшей на чугунной ограде. Дом я узнал по плющу, который карабкался по старым кирпичным стенам до чердачных окон. Так было сказано в письме — единственный дом, увитый плющом. Значит, вот тут я, возможно, начну свою ветеринарную карьеру.

Поднявшись на крыльцо, я вдруг задохнулся, точно от долгого бега. Если место останется за мной, значит именно тут я по-настоящему узнаю себя. Ведь проверить, чего я стою, можно только на деле!

Старинный дом георгианского стиля мне понравился. Дверь была выкрашена белой краской. Белыми были и рамы окон — широких, красивых на первом и втором этаже, маленьких и квадратных высоко вверху, под черепичным скатом крыши. Краска облупилась, известка между кирпичами во многих местах выкрошилась, но дом оставался непреходяще красивым. Палисадника не было, и только чугунная решетка отделяла его от улицы.

Я позвонил, и тотчас предвечернюю тишину нарушил ошалелый лай, точно свора гончих неслась по следу. Верхняя половина двери была стеклянной. Поглядев внутрь, я увидел, как из-за угла длинного коридора хлынул поток собак и, захлебываясь лаем, обрушился на дверь. Я давно свыкся со всякими животными, но у меня возникло желание поскорее убраться восвояси. Однако я только отступил на шаг и принялся разглядывать собак, которые, иногда по двое, возникали за стеклом, сверкая глазами и лязгая зубами. Через минуту мне более или менее удалось их рассортировать, и я понял, что, насчитав сгоряча в этой кутерьме четырнадцать псов, немного ошибся. Их оказалось всего пять: большой светло-рыжий грейхаунд, который мелькал за стеклом особенно часто, потому